

Чужое небо

ЭДУАРД СЕРОУСОВ



Эдуард Сероусов

Чужое небо

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Чужое небо / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Высоко в горах, на самой отдалённой метеостанции планеты, старая учёная Марта замечает то, чего пока не видит никто внизу: голубизна неба слегка разбавлена, кислород медленно уходит из воздуха, а её собственный муж дышит уже не так глубоко, как вчера. Прежние коллеги отмахиваются, официальные сводки успокаивают, дочь в равнинном городе не верит. Марта одна с приборами и с человеком, которого любит, — и с догадкой, слишком страшной, чтобы произнести вслух. Повесть о цене правоты, о верности профессии и о том, что дом — это не воздух, а голос рядом, читающий приборы по утрам.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Игла	5
Часть 2. Небо ещё голубое	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Эдуард Сероусов

Чужое небо

Часть 1. Игла

Пётр читал манометры вслух, как читают молитву, — не для смысла, а для порядка вещей.

— Номер один: шестьсот сорок два.

Марта записывала. Карандаш был короткий, обгрызенный сверху по привычке, которой было столько же лет, сколько браку; она послунила грифель, хотя грифель в этом не нуждался, и вывела цифру в графе. Утро на станции всегда начиналось так: он у стены с приборами, спиной к ней, в шерстяной кофте, надетой поверх второй шерстяной кофты, — она за столом с журналом, разлинованным её же рукой в тот год, когда они сюда поднялись. Тридцать четыре года назад. Линии выцвели до цвета чая. Цифры она вписывала поверх, живые поверх мёртвых.

Она знала этот его голос наизусть — не слова, слова были всегда одни и те же, а звук: как он опускался на десятках и подымался на сотнях, как задерживался на нуле, будто нуль требовал уважения. Она могла бы вести журнал с закрытыми глазами, по одному звуку. Иногда, в дурном настроении, думала, что и живёт так — с закрытыми глазами, по звуку его голоса; и что если голос однажды умолкнет, она сойдёт со счёта во всём сразу, не только в манометрах.

— Номер два: шестьсот сорок... — Пётр наклонился к стеклу, и в наклоне была нежность, с какой наклоняются к старому знакомому. — Врёт, зараза. Как всегда.

— Как всегда, — сказала Марта.

Манометр номер два врал с восемьдесят девятого. Стрелка садилась на четыре деления ниже, чем следовало, и они оба знали поправку наизусть, и всё равно каждое утро он объявлял её ложь вслух, а Марта каждое утро отвечала одинаково, и в этой отработанной глупости было больше супружества, чем в любых словах. Он любил этот прибор. Он говорил однажды, давно, что любит его — как тебя, Марта, за то, что врёт в одну и ту же сторону; на такое можно положиться. Она тогда не ответила. Она вообще редко отвечала на такое; ей было легче с цифрами. Но запомнила — она всё запоминала, что он говорил ей о любви, потому что говорил он это редко и всегда через приборы, через погоду, через что-нибудь, что можно было потом отдать обратно шуткой, если она не отзовется. Она никогда не отзывалась. Он всё равно говорил. Тридцать четыре года он ронял ей нежность боком, вскользь, и делал вид, что не заметит, если она не поднимет.

— Плюс четыре, — сказал он. — Пиши шестьсот сорок шесть.

Она уже написала.

Он кашлянул. Не сильно — коротким, сухим толчком, каким кашляют, прочищая горло, — но кашель шёл откуда-то глубже горла, и Марта, не поднимая головы, отсчитала следующий его вдох. На четыре. Вдох на четыре счёта, ровный. Она делала это, сама того не замечая, уже которую неделю: считала, как он дышит, — так же машинально, как слюнила карандаш. Четыре было хорошо. Четыре было нормально.

— Номер три, — сказал Пётр. — Барометр. Падает. К вечеру задует.

— Ты по коленям это знаешь или по прибору?

— По коленям вернее. — Он выпрямился, и в спине что-то отчётливо хрустнуло. — Прибор для тебя, колени для меня. Каждому своё окно в погоду.

За окном стоял рассвет. Небо над хребтом было чистое, без единой прожилки облака, — и всё-таки Марта, подняв наконец глаза от журнала, задержала на нём взгляд на секунду дольше, чем следовало. Голубое. Разумеется, голубое. Но голубизна была какая-то отступив-

шая, разбавленная, будто кто-то в ночи плеснул в неё молока и размешал не до конца. Она смотрела на это небо тридцать четыре года. У неё был не то что глаз — у неё была память сетчатки на этот цвет, на его сезонные оттенки, на то, как он густеет к сентябрю. И память говорила: не так. Чуть-чуть, на волосок, но не так.

Она отвела взгляд. Усталость. Или катаракта — врач в прошлый спуск бормотал что-то про начинающуюся катаракту. Глаз врёт, как манометр номер два; надо знать поправку.

— Марта.

— М.

— Ты меня записала неправильно дышащим, — сказал Пётр, и она услышала улыбку в его голосе прежде, чем обернулась. Он стоял, прижав ладонь к груди, шутовски-торжественно. — Я специально проверял. Ты цифры пишешь, а сама меня считаешь. Раз-два-три-четыре. Я слышу, как ты губами шевелишь.

— Ничего я не шевелю.

— Шевелишь. — Он подошёл, и его рука легла ей на поясницу — тяжёлая, тёплая, знавшая эту поясницу дольше, чем сама поясница себя знала. — Считай на здоровье. Только пиши правильно: дышу отлично. Запиши: муж дышит отлично, жена паникует по привычке.

— Жена не паникует.

— Жена всю жизнь паникует, — сказал он мягко. — За это её и выгнали. За это я на ней и женился.



Фотография стояла, прислонённая к манометру номер два.

Марта не знала, когда он её туда переставил, — вчера её там не было, она была на полке, лицом к стене, как стояла месяцами. Теперь Ната смотрела в комнату. Снимок был десятилетней давности: дочь на набережной какого-то южного города, шуруется от солнца, ветер бросил ей волосы на лицо, и она смеётся, отводя прядь, — молодая, чужая, счастливая в жизни, к которой мать не имела отношения. Пётр возил этот снимок в бумажнике, потом достал, потом рамка появилась. Теперь она стояла у прибора, который врёт с восемьдесят девятого, — прислонённая к нему, как к плечу.

— Зачем ты её сюда, — сказала Марта. Не вопросом. Ровно.

— Чтоб смотрела. — Пётр разливал чай, и пар поднимался ровно, потому что задувать будет только к вечеру. — Ей полезно на нас смотреть. Нам полезно на неё.

— Она смеётся. На снимке. Она не на нас смотрит, она в объектив смеётся, кто-то её тогда снимал, и это был не ты и не я.

— Марта.

— Что.

Он поставил перед ней стакан. Чай был крепкий, почти чёрный, как она любила, — он тридцать четыре года заваривал ей чай крепче, чем себе, и никогда не спрашивал, надо ли.

— Позвони ей, — сказал он. — Ты полгода не звонила.

— Связь плохая.

— Связь отличная. Ты вчера три часа висела на этой своей волне, спорила с кем-то в Женеве про уголексилоту. Связь роскошная, Марта. Плохая — это отговорка, а не связь.

Она обхватила стакан ладонями. Пальцы у неё всегда были первыми, раньше носа, раньше ног, — плохое кровообращение, старость, высота. Тепло стекла было хорошим. Она держалась за него и смотрела не на дочь, а мимо, в окно, где стояло разбавленное молоком небо, и думала — не о Нате, о небе. О том, что цвет неправильный. Ей было легче думать о небе. Небо не смеялось в чужой объектив десять лет назад; небо было тут, оно было её, оно всегда было её больше, чем дочь.

Вот в этом всё и дело, — сказала она себе с той сухой, привычной беспощадностью, с какой говорила только с собой. Вот за это тебя и надо было выгнать. Не за алармизм. За то, что тебе легче с небом.

Спор был старый и без слов давно, изношенный до одной точки, до одного взгляда, — но она помнила его словами, потому что слова были когда-то, много лет назад, единственный настоящий раз, когда они с Петром чуть не разошлись. Ната была маленькая, внизу, у его матери; Марту звали на полгода — измерять что-то важное где-то далеко, — и она поехала, и он не сказал «не езжай», он никогда не говорил «не езжай», он сказал только: «А кто ей будет мать, пока ты меряешь воздух для всех?» — и она ответила, молодая, уверенная, полная больших вопросов: «Воздух — для неё тоже. Я это и делаю — для неё». Она в это верила. Она до сих пор наполовину в это верила, и вторая половина её за это ненавидела. Ната росла на чужом воздухе, который мать берегла для всех и не уберегла для одной. И вот теперь снимок стоял, прислонённый к прибору, который врёт в одну и ту же сторону, и Марте было легче смотреть на медленно белеющее небо, чем в глаза десятилетней давности, шурящиеся от чужого солнца.

— Позвоню, — сказала она вслух. — Вечером.

— Ты вчера так сказала.

— Пётр.

— Молчу. — Он сел напротив со своим слабым чаем. Отпил. Над стаканом посмотрел на неё поверх пара — тем взглядом, каким смотрел последние годы всё чаще: без упрёка, что было хуже упрёка. Упрёк она умела отбивать. Против этого у неё не было поправки. — Я просто помню, что она есть, — сказал он. — Иногда мне кажется, что из нас двоих это помню только я.

Он кашлянул. Марта, глядя на дочь, которая смеялась в чужой объектив, отсчитала его вдох.

На четыре.



Позже, когда он ушёл колоть лёд у водозабора — работа, которую он себе оставлял, потому что от неё, говорил он, теплеют колени, — Марта осталась одна с приборами.

Это был её час. Не метеорология — метеорологию они вели вдвоём, для управления, для сводок, за это станции ещё платили какие-то деньги, — а её собственное. В дальнем углу, отдельным столом, стоял хроматограф: старый, списанный, вытасченный ею когда-то с институтского склада на пенсию вместе с собой. Раз в науке ей больше не место — она устроила науку здесь. Каждое утро она гоняла пробу воздуха и записывала состав. Кислород, азот, аргон, углекислота, следовые. Тридцать четыре года цифр, которые никому, кроме неё, не были нужны. Хребет, высота, чистейший воздух планеты — эталон, фон, ноль отсчёта. Она держала этот ноль, как держат свечу в пустой церкви: не потому что кто-то придёт, а потому что нельзя, чтобы погасла.

Игла легла не туда.

Марта смотрела на перо самописца и не двигалась. Кислород. Перо провело линию ниже, чем проводило вчера. Ниже, чем позавчера. Она развернула ленту назад, разглаживая ладонью, — и лента показала то, чего она сначала не сложила в целое, потому что каждый отдельный день был в пределах шума, в пределах приборной погрешности, в пределах «показалось». Но лента была не про день. Лента была про две недели. И на две недели линия кислорода шла вниз. Не скакала, как скачет от погоды, от фронта, от её собственных грязных рук на пробоотборнике. Шла вниз ровно. Так ровно, как не умеет ходить погода.

Она проверила прибор. Это первое, чему учат: не верь прибору, поверь прибору, проверь прибор. Она прогнала эталонную смесь из баллона — ту, чей состав отпечатан на боку и не меняется. Хроматограф прочёл эталон верно, до третьего знака. Прибор был честен. Она прогнала пробу дважды, потом трижды, меняя иглу пробоотборника, промывая тракт, — всё, чему её учили делать, прежде чем поверить в неудобное; всё, чего в институте, в конце, ей же и

не простили — что она делала это слишком добросовестно и получала слишком добросовестный результат. Результат не менялся. Кислород уходил.

Значит, воздух.

Марта откинулась на спинку. За окном Пётр колот лед, и звук доходил с задержкой — тук, и через долю секунды тук в ушах, — и небо над ним стояло разбавленное молоком, и она вдруг поняла, отчего цвет неправильный, вернее, отказалась понимать, потому что понимание было слишком большим, чтобы впустить его целиком, и она впустила его краем. Рэлей, — подумала она сухо, служебно, пряча в слово, как в окоп. Голубизна неба — это рэлеевское рассеяние, свет играет на молекулах, которые мельче длины его волны. А если в воздухе завелось что-то крупнее молекул — что-то, что рассеивает не по Рэлею, — небо белеет. Молоко в голубизне — это не катаракта в её глазу. Это крупные частицы в её небе.

Она сидела очень тихо. Внутри было холодно и ясно, той ясностью, которую она знала и боялась, — ясностью, с какой когда-то, молодая, впервые прочла в чужих цифрах то, чего не хотели видеть старшие, и сказала вслух, и была права, и за правоту заплачено всей жизнью. Ту ясность в институте называли алармизмом. Дома её называли — что тебе опять неймётся, Марта.

Она отмотала ленту к началу. Провела пальцем по ровной нисходящей линии кислорода. Небо за окном было ещё голубое.

Но игла уже ушла за край.

Часть 2. Небо ещё голубое

Три дня она молчала о цифрах и работала.

Работать было легче, чем думать, и много легче, чем говорить. Она отобрала пробы на разных высотах — спустилась к водозабору, поднялась на гребень за станцией, взяла воздух у самой земли и на вытянутой над обрывом руке. Она прогоняла их ночами, когда Пётр спал, потому что не готова была объяснять, а объяснять пришлось бы: он просыпался от щелчков хроматографа и спрашивал из темноты — Марта, ты опять? — и она отвечала — сводку добиваю, спи, — и он верил, потому что за тридцать четыре года она ни разу не солгала ему о крупном и потому лгала о мелком беспрепятственно.

Картина складывалась, и картина была невозможной.

Кислород убывал. Не везде одинаково — у земли быстрее, на гребне медленнее, — и это было хуже всего, потому что это имело смысл. Дурной, стройный смысл. То, что съедало кислород, было тяжелее воздуха и оседало книзу; оттого у земли его больше, оттого дышится там, где ниже, — а скоро будет наоборот. Она считала парциальное давление и получала цифры, которые в институте, в прошлой жизни, заставили бы её встать и выйти к доске. Здесь у неё не было доски. У неё был Пётр, спящий за дощатой перегородкой, и его вдох, который она теперь считала даже во сне.

На четвертую ночь она назвала это.

Не вслух — вслух было ещё нельзя. Она написала это в журнале, отдельной строкой, ровным почерком, каким пишут диагноз: *состав сдвигается систематически, направленно, не по природным механизмам*. И под этим, ниже, будто не решаясь, но уже не в силах не написать: *засев*. Кто-то — что-то — засеял верхние слои. Не пришёл, не высадился, не объявил войну. Рассеял в стратосфере нечто, что теперь тихо, на солнечной энергии, из самого воздуха, перебирает молекулы и складывает из них новые, тяжёлые, мёртвые, и падает с ними вниз, на неё, на Петра, на дочь, смеющуюся в чужой объектив.

Терраформирование, — написала она и посмотрела на слово. Оно было длинное и книжное и не помещалось в ужас, который называло. Землю переделывали под кого-то другого. Не завоёвывали — переписывали.

Она попробовала представить механизм — не чтобы утешиться, утешения тут не было, а потому что представлять механизм было её ремеслом и единственным способом стоять прямо. Прислать флот дорого; масса дорога; тащить через пустоту вещество разорительно даже для того, кто умеет ходить меж звёзд. А воздух здесь уже есть. Не вези ничего — построй машину, которая строит себя из того, что на месте. Рассей в стратосфере горсть, дай ей солнце — и пусть перебирает молекулы даром, на дармовом свете, из дармового воздуха, складывая из лёгкого кислорода что-то тяжёлое и мёртвое и размножаясь на ходу. Планету не берут штурмом. Планету засевают и ждут, пока прорастёт. Дёшево, терпеливо, безлюдно.

И самое страшное, то, от чего у неё стыли уже не пальцы, а что-то под грудиной, было даже не в удушьё. Оно было в безразличии. Тому, кто это сделал, они не были нужны. Ни как рабы, ни как враг, ни как трофей. Их не считали достойными разговора. Атмосфера — да, атмосфера кому-то понадобилась. Люди в ней — нет. Их сотрут не со зла и не в бою, а как стирают плесень, переклеивая обои, — не заметив, что стёрли.

Она сидела с этим одна, в темноте, за перегородкой дышал муж, и она поняла, что не сможет держать это одна.

Ей нужно было, чтобы кто-то сказал: ты ошиблась, Марта.

✱

Соколов ответил на второй вызов.

Он всегда отвечал на второй — на первый не отвечал из принципа, чтобы показать, что занят, а на второй отвечал, чтобы показать, что всё-таки для тебя нашёл минуту. Тридцать лет назад этот приём казался ей значительным. Голос его в динамике был ровный, отдохнувший, начальственный — голос человека, у которого хороший кабинет и хорошая совесть, потому что вторую он выдаёт себе сам.

— Марта. — Пауза, в которой уместилась вся их история. — Живая.

— Соколов. У меня цифры.

— У тебя всегда цифры.

— Послушай состав. — Она читала с ленты, ровно, без нажима, как читают то, что говорит само за себя: высоты, парциальные давления, суточный ход убыли, разницу по высоте, отсутствие природного механизма, который свёл бы это в одно. Она читала минуты три. В динамике было тихо, только несущая шипела да где-то там, в его тёплом кабинете внизу, тикали, наверное, часы. Она дочитала и замолчала и стала ждать, чтобы он сказал: ты ошиблась. Она хотела этого так, как не хотела ничего давно.

— Одна станция, — сказал Соколов.

— Что?

— У тебя одна станция, Марта. Один хроматограф. Списанный, если я верно помню, — я подписывал акт списания. — Он говорил мягко, почти ласково, и от ласковости было тошно. — Ты берёшь один прибор, одну точку на планете, одну руку — свою, — и строишь на этом конец света. Ты всегда так делала. В восемьдесят седьмом ты так делала. Помнишь, чем кончилось?

Она помнила. Он знал, что она помнит. Он для того и сказал.

— Проверь по своей сети, — сказала она, и голос всё-таки дрогнул на «своей». — У тебя триста станций. Пусть посмотрят кислород. Двух недель хватит, чтобы увидеть тренд. Соколов, это займёт у тебя один день.

— И поднять панику на основании тренда, — сказал он. — Ты знаешь, что такое паника, Марта? Ты цифры знаешь, а паники не знаешь, ты всю жизнь на горе. Паника — это когда рынки узнают, что воздух портится, и за неделю умирает больше народу, чем от твоего кислорода за год. Я не могу себе позволить твою правоту. Даже если ты права. Особенно если ты права.

Она молчала, и в молчании копилось то, чего она тридцать лет не говорила ему вслух.

— Ты меня учил, — сказала она наконец. — В той жизни. Ты первый показал мне, как читать состав. Ты говорил: воздух — это документ, Марта, в нём записано всё, надо только уметь читать. Я научилась читать. А потом ты подписал бумагу, что я читаю неправильно, и меня не стало. Ты своей рукой вычеркнул своего лучшего ученика, потому что ученик читал то, что неудобно было напечатать. Помнишь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.